

Studia Culturae: Вып. 2 (40): *Vulnus*: Н.А. Артеменко. С. 128-138.

Н.А. АРТЕМЕНКО

Кандидат философских наук, доцент

*Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии
ЦИЗКОП СИ РАН, Россия*

УСТНАЯ ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМА «ДОСТУПА» К ТРАВМАТИЧЕСКОМУ ОПЫТУ

Термин «устная история» ныне используется довольно широко, хотя возник он относительно недавно. Начало метода устной истории следует искать в исследованиях, касающихся интервьюирования, и в связи со смежными дисциплинами: социологией, этнологией, политологией, отчасти с лингвистикой. Всё это было импульсом, вызвавшим обращение к личности, стремление к индивидуализации масс. Довольно быстро общим местом в критической литературе стало обсуждение связи устной истории и исторической памяти. Действительно, и Memory Studies, и oral history как направления исследований носят междисциплинарный характер. Метод интервью является очень сложным путём, требующим больших усилий, осознания высокой степени субъективности исследователя, поэтому устная история некоторыми историками считается весьма ненадежным источником. При этом нельзя не учитывать тот факт, что метод устной истории оказывается весьма востребованным там, где не осталось больше никаких источников, кроме свидетельств человеческой памяти. Устная история позволяет изучать не столько фактическую сторону прошлого, сколько само человеческое сознание и его изменение, его трансформацию. В статье рассматривается связь устной истории и человеческой памяти, проблема «доступа» к травматическому опыту, особенности нарратива при травматическом опыте.

Ключевые слова: устная история, Memory Studies, травма, травматический опыт, память, нарратив

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 18-011-00570 А «Теория культурной травмы: индивидуальный травматический опыт и опыт исторических катастроф».

N.A. ARTEMENKO

PhD in Philosophy, Associate Professor

*St. Petersburg State University, Institute of Philosophy
CIZCOP SI RAS, Russia*

ORAL HISTORY AND THE PROBLEM OF "ACCESS" TO TRAUMATIC EXPERIENCE

The term «oral history» is now widely used, although it has emerged relatively recently. The beginning of the method of oral history should be sought in research relating to interviewing, and in connection with related disciplines: sociology, ethnology, political science, partly with linguistics. All this was an impulse that caused the appeal to the individual, the desire for individualization of the masses. Quite quickly a commonplace in critical literature became the discussion of the relationship between oral history and historical memory. Indeed, both Memory Studies and oral history as areas of research are interdisciplinary. The method of interview is a very difficult way, requiring great effort, awareness of a high degree of subjectivity of the researcher, so oral history by some historians is considered a very unreliable source. It is impossible not to take into account the fact that the method of oral history is very important where there are no more sources, except the evidence of human memory. Oral history allows us to study not only the factual side of the past as the human consciousness itself and its transformation. The article deals with the connection of oral history and human memory, the problem of «access» to traumatic experience, the peculiarities of narrative in traumatic experience.

Keywords: oral history, Memory Studies, trauma, traumatic experience, memory, narrative.

The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 18-011-00570 А «Theory of cultural injury: individual traumatic experience and experience of historical catastrophes».

- А что если кроме них никого не останется?

- Кроме кого?

- Кроме людей, которых ты хочешь забыть?

Из фильма «Парижанка» (реж. А. Соболев, 2019)

Термин «устная история» ныне используется довольно широко, хотя возник он относительно недавно. Это понятие прочно вошло в мировую научную практику и в отечественную историографию во второй половине XX в. Оно является точным переводом возникшего в США научно-общественного движения «oral history». Ростовцев Е. А. в статье «Российская наука об устной истории» отмечает, что «...сегодня устная история не просто модное направление, но целая индустрия исторических исследований. В известных работах ведущих представителей американской и европейской науки (историков, социологов, психологов) второй половины XX в. (Дж. Эванс, А. Портелли, А. Хейли, Я. Вансина, П. Томпсон, Д. Берто, Л. Нитхаммер, Л. Пассерини и многие другие) сформулирована

проблематика Oral History, начата разработка исследовательского инструментария, созданы основы для институализации этого направления с собственными исследовательскими центрами, журналами, учебными курсами. Нельзя спорить с тем, что на становление и популяризацию устной истории прямое влияние оказало интенсивное развитие технологий записи и хранения устных источников, создания цифровых банков данных и разработки методов их анализа. Однако основная причина бурного роста этой научной области, конечно, в том, что историография XX–XXI вв. не просто ушла от тезиса Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, согласно которому история «пишется» по документам, но и решительно пересмотрела свой объект исследования: вместо фактов им стал человек во всех его проявлениях. Без устной истории оказалось невозможно изучать ни ментальность далекого европейского прошлого (например, психологию человека Средневековья, не привлекая фольклор), ни историю африканских народов, не имевших до XX в. развитой письменной традиции, ни повседневность ушедшего XX в.» [9; С. 523-524].

Начало метода устной истории следует искать в исследованиях, касающихся интервьюирования, и в связи со смежными дисциплинами: социологией, этнологией, политологией, отчасти с лингвистикой. Всё это было импульсом, вызвавшим обращение к личности, стремление к индивидуализации масс. Довольно быстро общим местом в критической литературе стало обсуждение связи устной истории и исторической памяти. Действительно, и Memory Studies, и устная история как направления исследований носят междисциплинарный характер, и помимо историков в них найдется место социологам, психологам, лингвистам, философам, поскольку в устной истории речь идет о разработке методики глубинного интервью, критическом анализе его материалов, выявлении «травмирующих» воспоминаний респондентов и т. п. О способности человека помнить то, что было давно, существует уже немало исследовательской литературы, но она при этом не способствуют снятию ряда важных противоречий, касающихся понимания памяти, взаимодействия коллективной и индивидуальной памяти, нарративизации памяти, ее «жизни» в конкретном языке, дискурсе, который всегда социально обусловлен и т.д.

Известный немецкий историк Лутц Нитхаммер отмечает, обращая особое внимание на проблему памяти, что «большинство людей уверены, что память — это автоматический накопитель, а накопленная информация должна соответствовать реальности, если же она не соответствует, то это чушь и ложь. А память работает иначе. То, что человек запоминает, связано с какими-то условиями, и большая часть того, что мы воспринимаем, мы забываем. В частности, мы забываем то, ... что нас не удивило, не зацепило, а запоминается информация, имеющая эффект но-

визны, ситуации, к которым мы не были готовы, которые имеют для нас большое эмоциональное значение (боль, например, или счастливые переживания). ...Проще говоря, все люди помнят свой первый поцелуй, но никто не может вспомнить все поцелуи, которые с тех пор были. Память не воспроизводит реальность прошлого, а лишь то, что вызвало эмоциональный всплеск» [10].

Л. Нитхаммер затрагивает пробному памяти не просто так: если устная история, это, так сказать, «история снизу», предполагающая методы, привязанные к индивидууму, к его «я», это способ записи, сохранения и обработки уникальных воспоминаний людей, чьи воспоминания иначе были бы потеряны, то под вопросом оказывается и (1) способ трансляции информации о прошлом индивидуумом, который всегда, как считает Л. Нитхаммер, зависит от задаваемого контекста, иначе говоря, «факторы коллективной памяти в данном случае особенно важны, гораздо важнее, чем индивидуальная память, потому что коллективная память подвергает индивидуальную жесткой цензуре» [10], и (2) способ обработки огромных объемов неструктурируемых речевых жанров, который должен, по идее, исключать любую интерпретацию, и (3), в конце концов, субъективность самого исследователя, берущего интервью, потому как сам интервьюер может быть не свободен ни от поколенческого, ни от полового или гендерного опыта, ни от груза высшего образования – все это, безусловно, влияет на вопросы, направляющие ход интервью, задающие определенный контекст и тональность, и здесь весьма сложно делать вид, что у «народа субъективность есть, а у исследователя ее нет».

Метод интервью является, стало быть, очень сложным путём, требующим больших усилий, осознания высокой степени субъективности исследователя, поэтому устная история некоторыми историками считается весьма ненадежным источником. Л. Нитхаммер вспоминает: «Я лично связывал с этими методами розовые надежды о включении массового субъекта в исторический дискурс. Эти новшества прошли по Западной Европе и не только по ней. Тогдашние молодые ученые активно пользовались новым методом, то же было и в социологии ... и в смежных дисциплинах. Такой популизм, с одной стороны, очень быстро привел к активному распространению подобного рода деятельности, бывшее меньшинство получило голос, доступ к СМИ, но с другой — к значительному числу научных разочарований» [10]. Действительно, с помощью методов устной истории у нас есть возможность собрать впечатления и переживания рядовых, так сказать, «творцов истории», и тем самым сделать шаг к более полному, возможно даже более адекватному знанию о прошлом. Устная история сохраняет свидетельства современников, что оказывается особенно значимым для тех эпох, изучение которых было по тем или иным причинам под

запретом или намеренно проводилось по сфабрикованным источникам, имеющим идеологический, к примеру, обертон. Метод устной истории так же оказывается весьма востребованным там, где не осталось больше никаких источников, кроме свидетельств человеческой памяти. Необходимо отметить, что устная история позволяет, таким образом, изучать не столько фактическую сторону прошлого, сколько само человеческое сознание и его изменение, его трансформацию, которая так же находит отражение в тех или иных исторических событиях. Как полидисциплинарное исследование, устная история дает богатый материал для антропологии, микроистории, истории ментальностей, истории повседневности, исторической психологии и других социально-антропологических направлений.

Но совершенно верно при этом отмечают многие историки, что хотя устная история и дает богатый материал, демонстрирующий субъективный мир людей не только как результат истории, но и как участника истории, все же необходимо учитывать ряд методологических особенностей такого рода исследования. Прежде всего, как уже отмечалось, это высокая степень субъективности материалов, полученных методом интервьюирования. Рассказчик не просто вспоминает прошлое, он неизбежно переживает его заново. Человеческая память обладает пластичностью, она ограничена произвольными утратами (забыванием), а выражение плодов ее работы может изменяться под сознательным, волевым воздействием (ложь, искажение, умолчание и т.д.). Рассказчик своим повествованием творит историю как бы заново, моделирует свое прошлое в соответствии с теми или иными политическими и культурными установками, особенностями своей биографии, психологическим настроением. Здесь важно учитывать и то, что отношение к событиям у автора воспоминаний может изменяться. С другой стороны, и на это так же указывает Л. Нитхаммер в своей книге «Вопросы к немецкой памяти», способность человека вспоминать может быть поддержана и расширена с помощью уточняющих вопросов, предъявления ему сведений из других источников и демонстрации противоречий между его словами и этими сведениями, либо между разными частями его высказываний. Нитхаммер отмечает: «Это значит, что между активной памятью и полным забвением есть еще зона латентных воспоминаний, которые можно активировать с помощью информации и взаимодействия с собеседником» [7; С. 21]. Для этого интервью должно быть выстроено особым образом. И здесь следует учитывать насколько моментов. Во-первых, в большинстве случаев за беседой встречаются представители разных социально-культурных групп, каждый со своим собственным видением, которое во многом определяет стратегию разговора, каждый со своим собственным арсеналом способов обмана, которыми он в ходе разговора выманивает или утаивает сведения, и каждый со своими собственными

самообманами. Нитхаммер обращает внимание, что самый частый обман исследователя состоит в том, что он полагает, будто в чем-то превосходит интервьюируемого, а так же призван ему как-то помочь. Однако историк не может предоставлять никаких терапевтических услуг, у него нет ни власти, ни критериев, чтобы кого-то судить. Самый частый обман респондентов состоит в том, что очень часто в ходе долгого интервью у них скалываются личные отношения с интервьюером, в результате чего он забывают, что перед ними человек, представляющий научную работу, культурные или другие институты, заинтересованные в использовании получаемой от них информации [7; С. 21]. Поэтому, заключает Нитхаммер, «устная история эффективна прежде всего тогда, когда содержание интервью противоречит тому, что принято предполагать, думать и знать об этом времени. Интересен переход от истории к литературе, литературный восторг, узнавание нового о прошлом. И историков это заставляет отказаться от заученных вопросов, которые они, может быть, переняли когда-то у социологов, и спросить что-то ещё. ... Таким образом они станут богаче, смогут заглянуть в другие части общества, сравнить противоречивость разных опытов, смогут освободиться от поверхностности СМИ, предлагающих пережёванный, переработанный, один и тот же поколенческий опыт» [10]. Но есть и другая проблема – проговоренный рассказчиком текст должен быть как-то проанализирован, он подвергается мощной переработке со стороны интервьюера, возникает соблазн при расшифровке записи что-то подредактировать, подправить как в смысловом отношении, так и в грамматическом. Тогда ученый выступает соавтором текста, и это во многом умаляет значение рассказа как исторического источника. Но и это далеко не последняя проблема. А.И. Филюшкин отмечает: «Перед исследователем также встает проблема так называемых «матричных текстов» — когда респондент выдает за свое мнение, переживание или личное свидетельство стандартный, чуть ли не официальный текст, который он усвоил и считает собственным мнением. Эффект от использования подобных матричных текстов иногда бывает просто поразительным — ученые доказали, что часть мемуаров об истории революции и гражданской войны на самом деле основаны на поздних художественных фильмах (например, «Чапаев», «Ленин в Октябре»). При этом подмена в сознании авторов воспоминаний своих личных впечатлений чужим и малодостоверным «матричным текстом» произошла так давно, что респондент не всегда в состоянии осознать, что просто транслирует когда-то навязанную ему извне точку зрения» [6; С. 6].

Можно сказать, что в силу особых отношений с памятью, «устная история» обращает нас к самим основаниям и предпосылкам истории, тре-

буя и позволяя тем самым задуматься над вопросом, каковы отношения между историей и человеком, и как меняются эти отношения. Не стоит забывать, что история как форма отношений человека с миром стала возможной благодаря человеческой памяти. Но память избирательна, память пластична, существует забывание, умалчивание, вытеснение – намеренное и бессознательное. Мы не только «животные, способные помнить», но существа, способные забывать плохое и хорошее, важное и неважное. Всегда есть риск непроизвольно вспомнить прочно забытое, существенное может стать совсем несущественным, а несущественное вдруг становится для нас значимым и наделяется особым смыслом, например, в свете последующих событий. На это важное свойство памяти указывает в своей статье ««Устная история» — философия памяти» Михаил Рожанский — «менять значение событий, которые ушли и живут только в ней — делает возможным выстраивание событий, лиц, слов и жестов в ряды последовательные, причинно-следственные, т.е. делает возможной историю как форму жизни.... Человек неспособен управлять своей памятью, но не может не стремиться это делать. История становится таким средством — средством управлять памятью, наделять значением, смыслом и лишать смысла, значения» [8]. М. Рожанский очень точно, на наш взгляд, называет устную историю «ремеслом равновесия между восстановлением истины и стремлением разбудить «поток сознания», чтобы сохранить его и донести до мира» [8].

Это «ремесло равновесия» предполагает, что в интервью-воспоминании следует оставлять пространство для того, чтобы респондент мог нащупать свои воспоминания и облечь их в такую форму, которую выберет сам, и с той расстановкой акцентов, и с такими умолчаниями, какие ему привычны. Но что делать, если в интервью вдруг всплывают воспоминания о травматическом опыте, который человек обычно вытеснял на периферию своего сознания? И если проект специально нацелен на изучение специфического травматического опыта? Тогда предметом разговора становится *историчность личной травмы*, пережитые людьми унижения и опасность для жизни зачастую могли быть настолько глубокими, что многие из жертв смогли вернуться к самостоятельной жизни только благодаря тому, что заключили этот травматический опыт в герметическую капсулу в своей памяти. И здесь мы позволим себе не согласиться с позицией Л. Нитхаммера, который в цитированном уже нами интервью говорит, что «психика может страдать от ... тяжёлых воспоминаний. Но мне кажется, что эта опасность слишком переоценивается. Дело в том, что эти люди жили с такими психологическими травмами в течение десятилетий и практически никто об этом не говорил, темы поднимались только в особых ситуациях. ... В принципе, люди уже давно определились, что они хотят

говорить и о чем не хотят рассказывать ... здесь не нужно недооценивать способность опытного исследователя управлять собой... я посоветовал бы ... не рассматривать травму в качестве какого-то клейма на этих событиях» [10]. Нам кажется, что в таком отношении к травматическому опыту не принимаются во внимание те его особенности, которые могут влиять на рассказ, которые могут сильно корректировать нарратив вплоть до полного искажения, которые вскрывают особую темпоральность травматического опыта, делая доступ к нему не просто затрудненным, но порой и невозможным. Не следует так же пренебрегать основной интенцией современной культуры – негацией боли, уничтожения боли в силу ее чрезмерности, которая пришла на XX век. Моррис называет в связи с этим современную культуру «анестезийной» [1; Р. 176].

Кэти Карут в статье «Травма, время, история» обращает внимание на ряд неотложных вопросов, которые лежат в центре понятия травмы: «какого рода истину, помимо психологической, травма пытается выразить? Свидетелем какой истории она является, точнее — чем отличается ее версия истории от тех воспоминаний, которые имеют более непосредственную форму?» [2; С. 561]. Карут противопоставляет травматические воспоминания и воспоминания, отсылающие к двум уровням памяти, наиболее интересным в устной истории (на которые указывает Л. Нитхаммер [7; С. 29-30]): активному и латентному. На уровне активной долговременной памяти хранится то, что постоянно нужно и вспоминается без особых усилий. Это, в первую очередь, представления человека о своей жизни в целом, некая «обойма» стандартных историй, которые рассказывают по любому случаю и которые зарекомендовали себя как коммуникативные блоки. «Человек в своих действиях, на практике и в своих вымыслах представляет животное, которое повествует истории» [5; С. 277], заметил как-то американский философ А. Макинтайр. Нарратив – это всегда сложное переплетение переживания и рассказа о нем, индивидуального и коллективного опыта, это далеко не всегда репрезентация, а чаще всего – конструкция, но от этого эпистемологическая ценность нарратива не умаляется, поскольку любая конструкция – это репрезентация другого порядка, демонстрирующая сами механизмы конструирования. Макинтайр замечает, что человеческая идентичность, единство человеческой истории и человеческого «я» фундируется единством нарратива, который организует жизнь в единый сюжет, в котором есть завязка (начало), кульминация (середина) и развязка (конец). Индивидуальные нарративы включены во множественные истории сообществ. ««Я» неизбежно обнаруживает, что его индивидуальный нарратив уже начат теми, кто был до него, и тем, что было до него» [3; С. 122], таким образом, нарративное конституирование «Я» имеет интересубъектив-

ные основания. Но эта нарративная идентичность обладает еще и внутренней диалектикой – диалектикой постоянства и изменчивости, поэтому рассказы на уровне активной памяти не всегда годятся для исторической реконструкции, но могут нести в себе интересные свидетельства переработки опыта и установок рассказчика, следы моделей описания жизненных ситуаций, заимствованных из культуры.

Латентный уровень памяти обнаруживает воспоминания, которые когда-то по некоей причине были важны: они могут касаться рутинных вещей, действий, состояний, повторяемых многократно в повседневной жизни (и они не обладают в строгом смысле слова нарративной структурой и не претендуют на статус смыслового высказывания), а могут отсылать и к ситуациям приобретения нового опыта, в которых рассказчик столкнулся с чем-то, для чего не существовало категориального аппарата. Последняя разновидность воспоминаний обладает особой пластичностью, здесь нарративы могут множиться, вступать в сложные ассоциативные единства, распадаться и собираться заново на других основаниях, поскольку такие воспоминания не обладают связностью, они, как правило, составляют серию разрозненных эпизодов.

Однако можно было бы продолжить и выделить еще один уровень памяти – память о травматическом опыте, который только отчасти можно соотнести с латентным уровнем. Травма – это боль, которая «запирает человека в его теле, нарушая интересующие связи, поскольку она не общаема, поскольку ее никто не способен разделить» [3; С. 58]. И хотя Виталий Лехциер имеет в виду здесь боль с медицинской точки зрения, однако это описание как нельзя лучше подходит к определению травматической боли. К. Карут обращает внимание на то, что память работает в травме особым образом, мы, скорее, имеем дело с парадоксом: «...о том, кто выжил несмотря ни на что, вряд ли можно сказать, что у него «есть память»; те, кто пережили катастрофическое событие, оказываются скорее носителями истории, которая им не вполне принадлежит» [2; С. 562]. Травма разрывает цельность биографического нарратива, взламывает и опрокидывает все способы конституирования идентичности, требует радикальной «пересборки» субъекта, в результате которой этот травматический мог бы быть освоен и включен как часть нарративной идентичности. Являясь «провалом» памяти, ее какой-то *значимой неудачей*, травма предлагает *опыт становления себя другим*, опыт, подразумевающий радикальную трансформацию субъективности, которая сама по себе может протекать достаточно травматично. «Жить как прежде» оказывается невозможным, травматический опыт, однажды вышедший из тени на свет, требует быть включенным в биографический нарратив, вживленным в ткань повседневного повествования. Однако этого не происходит: такого рода воспомина-

ния могут существовать только в виде «рванных» нарративов, хаотических историй. Если на уровне повседневных нарративов не события делают рассказ рассказом, а рассказ делает событие событием [3; С. 122], то в случае травматического рассказа никакого события как чего-то законченного, обладающего определенным смыслом и значением не возникает. К. Карут указывает на особый темпоральный режим травмы: поскольку у травматического «события» отсутствует *непосредственность переживания* – оно само есть *провал времени*: «... травма обусловлена не просто угрозой для жизни, но тем, что угроза как таковая была распознана сознанием на мгновение позже, чем нужно. Поэтому шок от столкновения разума с угрозой смерти есть не прямое переживание угрозы, но отсутствие своевременного переживания. Фактически, увидев преждевременно, разум запаздывает с осознанием. В этом радикальном темпоральном разрыве между видением и знанием и лежит невыносимая сила травмы. Поэтому травма есть *нелокализуемое событие*» [2; С. 571-572]. Что можно было бы сказать тогда о субъекте травмы? И как его можно было бы определить? Если исходить из классического определения субъекта как нечто целое и нерушимое, то травма – это всегда «дыра» в условной целостности субъекта, травма – это рана реальности, если перефразировать Жижека, создающая разрыв в нарративных структурах памяти.

Если верить А. Ассман, то темпоральный режим Модерна сменился, не означает ли это, что должен был смениться и темпоральный режим тех нарративов, которыми описывались события прошлого – того самого прошлого, которое «работало» в темпоральном режиме Модерна и было именно таковым – модерновым – прошлым? «Распалась связь времен», констатирует Ассман, вынося эту метафору распада в название своей книги. Что это означает для нас, живущих «после» крушения режима времени Модерна? Это в первую очередь означает, что ныне отсутствует ясность по отношению к взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, к их пересечениям и разделением. «Значимость и упорядоченность этих временных фаз уже не представляются нам естественными и очевидными» [1; С. 213]. «Прошлое и будущее утратили присущие им свойства сакрально чтимой объективной аутентичности, чего-то ожидаемого и нам неподвластного; вместо этого прошлое и будущее есть ныне нечто, фабрикуемое в настоящем и на потребу настоящего» [1; С. 215]. Ассман видит в кризисе темпорального режима Модерна возможность для самокритичной рефлексии, теоретического обновления, поскольку главным является то обстоятельство, что настоящее остается тем местом, где человек творит собственную современность, собственное будущее и прошлое. Не существует, таким образом, никакого «прошлого в себе», прошлое возникает лишь в той мере, в какой оно снова и снова фокусируется, тематизируется, конструируется и

перестраивается настоящим, которое является той фазой времени, в которой происходит человеческое восприятие, оценка, осмысление. Таким образом, встроенные в темпоральный режим Модерна отказ от прошлого и заикленность на будущем сменились новыми формами реактуализации прошлого. Этот факт, как кажется, и способствовал выделению «устной истории» в особую методологическую область исследования. Все очевиднее становится переоценка прошлого в свете актуального состояния наших знаний и с учетом насущных требований. При этом все более важную роль начинают играть интересы, обусловленные историческими событиями и травматическим опытом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ассман А. Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна. – М.: Новое литературное обозрение. – 2017. – с. 272.
2. Карут К. Травма, время, история // Травма: пункты: Сборник статей / Сост. С. Ушакин, Е. Трубина. – М.: Новое литературное обозрение. – 2009. – С. 561-581.
3. Лехциер В. Л. Болезнь: опыт, нарратив, надежда. Очерк социальных и гуманитарных исследований медицины. – Вильнюс: Logvino literatūros namai. – 2018. – с. 312.
4. Лоскутова М. В. Введение // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введ., общ. ред. М.В. Лоскутовой. –СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С-Петербурге. – 2003.
5. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга. – 2000. – с. 384.
6. Методические указания по проведению исследований по устной истории / Сост.: канд. ист. наук, доцент А.И. Филюшкин. – СПб.: Изд-во СПбГПУ. – 2004. – с. 17.
7. Нитхаммер Л. Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории. – М.: Новое издательство. – 2012. – с. 536.
8. Рожанский М. А. «Устная история» – философия памяти. URL: <http://gefter.ru/archive/13083> (дата обращения: 21.09.2019).
9. Ростовцев Е. А. Российская наука об устной истории // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2018. Т. 63. Вып. 2. – С. 522–545.
10. Семинар «Теоретические и практические аспекты устной истории» с Луцем Нитхаммером. 4 февраля 2014. URL: <https://urokiistorii.ru/article/52024> (дата обращения: 17.09.2019).
11. Томпсон П. Голос прошлого: Устная история. – М.: Издательство «Весь мир». – 2003. – с. 368.
12. Щеглова Т. К. Устная история в XX столетии: метод, источник, направление исторических исследований или самостоятельная дисциплина // Этнография Алтая и сопредельных территорий. Вып. 7. — Материалы междунар. науч. конф. / под ред. Т. К. Щегловой, И. В. Октябрьской. — Барнаул: БГПУ, 2008. — С. 246–256.
13. Assmann J. Collective Memory and Cultural Identity // *New German Critique*, 1995. № 65. – P. 125–33.
14. Caruth C. *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History*. Baltimore, 1996. – P.154.
15. Morris, D.B. *The Culture of Pain*. Berkley, Los Angeles, London:University of California Press. 1993. – P. 354.